

Борис Родин

ТАНЬКА

/рассказ/

Над Дровяной улицей, что неподалеку от Калинкина моста, солнце всходило неохотно, с привычным для жителей этой местности опозданием, когда часы Петропавловского собора били двенадцать, стреляла в низкое дымное небо пушка и на углу Невского и Грибоедова был уже полдень. Плоское светлое тело останавливалось ненадолго, освещая дневную редкую жизнь улочек с талым снегом, деревянной в сквере горкой, куда со второго этажа выглядывало Танькиных родителей и ее самой единственное окно, и при этом редком свете можно было видеть игроков в футбол, мужчин, распивающих купленный в полуподвальном магазинчике напротив красный портвейн, да пожилых женщин из соседних домов.

С четырех сторон, по числу частей света, был окружен скверик трехэтажными ровными этими домиками разной неяркой окраски и много скромных, нешустрых улочек подходило к скверу и около него они прекращались.

В этом отдаленном углу большого города магазины закрывались в 6 часов вечера, на неширокой площади, уставленной памятниками и окруженной каналами с бокастыми мостиками, где ажурные решетки соседствовали с фонарями старинной конструкции и где в зябкое и слякотное по календарю время года нетрудно поскользнуться, на этой с малым количеством воздуха и пространства площади разыгрывались под нежную для слуха музыку длинные трогательные представления; застаивались в этом жилом углу города туманные влажные массы, были особенные, построенные не так, как строят сейчас, и совсем с другой целью, не для жизни, а чтоб ходить туда, дома — назывались церкви и на углу Дровяной и Прачечного переулка имелся единственный в городе женский вытрезвитель.

Больше ничем не была знаменита эта сторона земного нашего пространства, разве что пивным ларьком на Мойке, но таких ларьков было не мало по всему обширному городу и он не выделялся, так что и назвать его чем-то особенным просто нет оснований. Возможно, но утверждать достоверно я не берусь, поблизости и были вещи позначительней, вроде портовых кранов, щедрых на дым и на копоть труб или вода маслянистая и мало склонная к движению по причине вечной своей задымленности и все той же маслянистости и богатостью нефтью и другими пачкающими и вяжущими веществами. И если продолжать углубляться, брать шире и несколько слов по поводу современности, что не когда-то, мол, в прошлом, а сейчас действие происходит, то ведь поблизости и мето даже было, но это последнее обстоятельство неважное и мы его — насчет сегодняшних наших дней — оставим.

Ибо сказанное — подход лишь, места действия описание, подробности внешние, где люди живут, виды транспорта, да как насчет снабжения и не очень ли хулиганят. А главное-то дело, особенное, в герое, он все разрешить должен, чтоб больше не сомневаться, знание обязан последнее дать — из-за этого героя неведомого и пишутся слова, вяжутся, приставляет автор словечки, лепит, строит лесенку и пусть до героя еще не близко, но в нем суть, в нем такое кроется, а что остальное? — Дым. Солнышко катится, скатилось и за крышу, а не под другой кровельки возшло. С героем не так, он повсюду, сразу, он на ночевку не отправляется каждый вечер, он... знаете кто он? — Закон нравственный, может мерить по нему поступок каждый свой придется, но это уже как выйдет.

П.

Танькина мать Марья Штукина, приходившаяся дочкой Петру Штукину, умершему по пьяному делу под колесами пассажирского поезда Ленинград-Ростов-на-Дону при возвращении от Марьи к себе домой на станцию Глубокая, не доехав до нее каких-нибудь 200-300 км, была шофером второго класса и вот уже семь лет водила старенький грузовичок, точно не установленного образца. Нельзя сказать, чтобы эта смерть как-то особенно глубоко тронула сердце Марьи, ибо она, уйдя в 14 лет из дома, уехав в Ростов, работая в депо, в паровозных мастерских, бегая мужикам за водкой и огурцами на гривенник, познала всю широту и скудность жизни слишком рано, чтобы через 30 лет после этого еще пугаться смерти близких или своей собственной. Не поехав на похороны по денежной вечной своей малости — такое дано было объяснение любопытным и настойчиво сочувствующим соседям, — а на самом деле по ей самой неясной причине, может какой жестокости, в которой и самой себе признаться было страшно, а еще лгать не хотелось, чего-то выдумывать, знала — все они там чужие, отец — последний был, а теперь ничего у нее — Марьи, что и дома-то не была чуть ли не с рождения — какое у нее дело может быть там — она ведь сама по себе, без них, а они без нее управятся, уж похоронить-то смогут, это они там смогут.

Она просто напилась так, как ей до этого приходилось напиваться лишь с Веркой из овощного магазина, что сейчас работает в закуской на Карла Маркса, да однажды с какими-то военными не то из Транспортной, не то из Медицинской академии, а скорее всего были это транзитные служивые люди, которые на

три дня в Ленинград проездом из Ташкента в Мурманск или наоборот — точно она сказать не могла, но знала, что тогда это было, когда еще молодой — без мужа и дочки. А придя домой, Марья, матерясь и плача, выставила за дверь Таньку и Феодосия Артамоновича, уснувшего в кресле с газетой на коленях, купленной три дня тому назад у Анны Матвеевны в киоске, что напротив булочной, и почти до утра ходила по комнате, ругалась, плакала, придумала себе уборку и заботы, из буфета посуду таскала, расставляла, не бывало раньше с ней такого, чтоб до всего дело — такая она вдруг стала хозяйственная и заботливая до всякой вещи в доме, на занавесках складки расправила, постель перестелила, лампочку новую ввинтила, поярче которая, а потом, допив маленькую, принесенную с собой, она уснула, как была одетая, поперек кровати и ей еще повезло, что она в ту ночь спала у себя дома, пусть и не в очень удобной позе, потому что именно на углу Дровяной и Прачечного переулка находился единственный в городе женский вытрезвитель.

Марья Петровна вставала в пять утра, и в тягучей густой темноте она двигалась по комнате к выключателю, жгла свет, заполняя неширокое пространство нарочито светлой мутью. Танька, каждую ночь подстерегаемая этим болезненно ранним рассветом, вздрагивала, открывала глаза, и уткнувшись в стенку, голова под подушкой, сразу вновь засыпала. Феодосий Артамонович, вставая несколько раньше, готовил жене завтрак — яичницу из трех яиц с салом, присланным из деревни, ибо отношения старательно поддерживались с обеих сторон, где сама добросовестность, с какой выполнялись все пункты и правила, весь регламент добрососедства были свидетельством и доказательством взаимной неприязни, но по соображениям частным и житейским, а также по при-

чине извечного права родства и крови, сознательно, а чаще почти всегда без умысла, без отметок в памяти происходил постоянный обмен письмами, — что входило, хоть родственники и были Марьины, в обязанности Феодосия Артамоновича — и собственностью; наливал в большую белую чашку черный нустой чай, внутренне безучастный, но деятельный и оживленный снаружи, а когда Марья исчезала в пустынности коридора и лестничного пролета, когда за ней захлопывалась становившаяся громкой от ее нелегких рук дверь, он тихо вздыхал, думая о том, что вот теперь часа два до времени Танькиного вставания и приготовлений в школу он сможет поспать. Свет угасал, когда Марья еще не успевала выйти на улицу, где ее ждал автобус, где приветствия смешивались с всеохватывающей зевотой и где пахло талым мартовским снегом, недолгими ночными заморозками и привычно, устойчиво — от людей и кожаных сидений — соляркой и бензином.

III.

Феодосий Артамонович прожил в Могилев-Подольске положенные ему годы, выпил местного производства положенное количество пива, учился в школе, которую не кончил, занявшись делами жизни и своими собственными. Мутная река, поспешно утекая в неизвестное место, в невидное дальнее пространство, по вечной своей торопливости не интересовалась жителями города, стоявшего на ее левом берегу, да и в Дондошанском районе, где была уже ударная комсомольская стройка, не говоря уже о кислом вине, дешевой клубнике и местном цыганском племени, его не помнили, как и вообще никого особенно долго в душе не держали,

разве что черную райкомовскую "Волгу", да и то по необходимости и заученной привычке к почитанию.

Феодосий Артамонович тихо двигался по предназначенному ему пути, начавшемуся в ночное неловкое для добрых дел время восемнадцатого года, второго года новой эры, когда он был зачат путем изнасилования молоденькой голландки в товарном поезде дальнего следования тех позволявших многое веселых лет.

Будучи негромким человеком, работая банщиком, чистильщиком на проспекте Славы и площади Мира напротив кино-театра "Уран", торгуя американскими сигаретами "Честерфилд", "Кемел" и голландскими сигаретами по два рубля пачка, уважал милицию и особенно ее главного представителя — квартального Петю Эйфудаяна — изящного блондина с голубоватыми овалами под глазами, он любил дешевые портвейны, женщин любил, не то, чтобы совсем уж так любил, но не пренебрегал этим, время от времени лечился; всякий раз очень удивляясь этому, обижался, но был отходчив и быстро все забывал — тридцать семь лет так прожил, — потихоньку, — в дождь не выходил из дома, в вечернее время купался в мимо бежавшей воде, тяготился верностью и никогда не курил.

Каждую весну вместе с цыганами с молдавского берега Днестра, бросив тазики, ваксу и частную продажу пива по полтиннику бутылка, он уходил зарабатывать деньги, воровать понемногу, ночами слушать, завалившись на спину и уставившись в богатое звездами небо, ленивые песни, жить как попало, не то зарабатывая, не то пропивая, — и так до глубокой осени, а там, еще не добравшись и до Харькова, все спустить, чтобы как обычно до весны напротив кино-театра "Уран" доводить до лилового блеска, худея и грустя, английские мужские полуботинки, да разную женскую тонкой работы обувь.

Так текли хмурые месяцы с мокрым снегом, ненастные, с оборванной мокрой листвой вечера:

"Сигареты "Кемел" не хотите?"

"Пара пачка".

"Просить не будем".

"да, вот три, ваших пять".

Запах ваксы, шнурки и подбивка подков и однажды — оказалась Марья, проездом, — смущенная голландско-цыганским происхождением — и враз — ни портвейна, ни женщин — Васильевский остров, однобокое плоское солнце над городом, пушка в двенадцать, жена и законная дочка Таня. О ней и рассказ.

IV.

Мальчиков любила Танька, танцы в клубе моряков, где была высокая классность мужского состава, утренние сеансы в кинотеатре "Пирамида", и каток в парке Урицкого, где случались знакомства, приятные своей непродолжительностью, где продавали горячие по пять копеек штука пончики, что посыпались сахарной пудрой, долго жевались и вызывали изжогу, где так увлекательно играла музыка и катались на коньках.

Еще любила Танька отца и брала у него деньги, боялась матери, да бывало плакала по мелким школьным, а потом, начиная с тринадцати, все чаще, по личным своим обидам и от этих слез Федосий Артамонович терялся, нелепо кружил по комнате, натываясь на вещи, бежал к своему портняжному столу, к своим мелкам и ножницам, роняя, обычно такой аккуратный, — раскрытый, готовый превратиться в костюм материал и забыв подобрать, видя, что ничего не получается, возвращался к Таньке, — ревушей,

в слезах, — неловко пытался гладить ее волосы и плечи и вдруг, как бы вспомнив что-то важное, семенил к вешалке и — сияющий, торжественный — краснея, совал Таньке в кармашек ее школьного передника трешку. Марья слез не уважала и при ней Танька заперлась в ванне и там, пустив воду, тихо вздыхала, мазала по лицу слезы, не забывая о зеркале и что от слез течет краска и теряется красота.

В вечернее время середины марта познакомилась она с Витькой из Грозного, широкоплечим человеком, ходившим на танцы, и не то, чтобы в нем что-то особенное было, хоть впрочем все это мужское, доблесть такая, что полу этому свойственна, проявлялась сильно и заметна была длительность его курсанства, что-то такое военное, неторопливое, верил он себе очень, так верил, что и Танька поверила, вдруг показалось ей так сильно, почудилось невероятное или почему — непонятно — внутри — вздрогнула разом вся, остановилась и шагу не ступить, отойти в сторонку, сказать себе насчет другого чего. И все дамские танго его да его, никого больше, чтоб только заметил ее, какая она.

А он и заметил, почему нет.

Была мутная погода со снегом, когда все текло, ни от чего не было покоя и радости, и оставалось только что влюбиться в хорошо выбритого мужчину, такого своим военным превосходством красивого. Может, он-то и нужен ей был, всегда нужен и кого искала она — вот теперь нашла и думала, как так вдруг — и нашла. Ведь еще когда собиралась — ничего не было, как обычно, не думая, для танцев, — и то ли по спешке какой, а может погода виновата была или заждались Танька, но только на скверной набережной реки Карповки, где в то время еще не было никакой каменной кладки, никаких гранитно-розовых стен, даже и машин, и

свай, и строительного-то еще ничегошеньки не было, никакого даже предчувствия обновления и новшеств никаких, совсем на спуске к воде, где подгнившие доски, сырой песок и камень и где в дневное летнее время металлической сеткой ловят разных совсем маленьких рыбок-сеголеток, на этой без изобилия фонарей — несветлой по ночам речной улице-набережной напротив неизвестного недлинного дома, где все уже спали, положено было начало долгой ее любви.

Свет от проходивших по верху машин, неслышно минуя их головы, падал в воду и там в ночной темной воде гас, а уж красный огонь правого габарита, зажигающийся, когда машина сворачивала на Кировский проспект, чтобы через Крестовский мост, а еще раньше, миновав мост через реку Карповку, попасть на острова, оставив на этом берегу с обеих сторон набережную адмирала Лазарева, — видеть эту от позднего часа суток особенно ~~хорошо~~ красную мигалку возможности уж никакой не было у них — и каждую минуту они неизвестно почему вот так, умственно, по памяти своей — сопровождали на всем ее пути до тех пор, пока она не терялась в неурядице островных парков и гребных клубов. Совсем рядом, чуть выше, временами подпрыгивали, набегали голоса поздних прохожих, смех, шептанье, невнятная возня пар и тогда они затихали, приоткрыв рот, ожидая, когда эти там наверху пройдут, угомонятся. Было слышно отчетливо до замирания, до страха, что увидят, — такой вид — не для показа — подвыпившие танцоры, расходившиеся с танцев в одиночку и группами. И странно было, что все такое происходило так близко от других людей, почти на уровне их трущих землю ступней. От реки несло сыростью и снегом, на берегу вдоль плещущей, булькающей воды еще сохранялась синеватая днем, а теперь совсем

белая кромка льда, которой касались их ноги. И несмотря на все страхи и внутренние недоумения было уже ясно, что только так это могло случиться и, возможно, даже не столько от великого желания, ибо смысл их сближения, пожалуй, вовсе или это, конечно, слишком, но во всяком случае не только в той извечной и нужной работе, которую они сейчас вот старательно проделывали, а в чем-то неизвестном им, и не в той легкости и тишине, неступающей позднее, да она, правду говоря, и не была полной — эта тишина и усталость, тут главное, наверно, было в их волнении, происходившем от того, что нашли они как-то друг друга, неизвестно, надолго ли, но сейчас оба были одинаковы и им одновременно стало весело, напало какое-то школьное чувство, будто над кем-то удалось подшутить, обвести вокруг, самого себя вокруг их всех. Надувательство — вот важное было, что надуть удалось, и на часок-другой счастья себе отхватить.

У.

Витя, как и полагается военному человеку, жил на Скобелевском, где снимал комнату, в которой не было ни телевизора, ни серванта, на стене висели боксерские перчатки и женщины были проходящие.

Город был большой, в городе было много людей, а площади были такие обширные, что два человека в разных концах находясь, конечно, могли увидеть друг друга, но и разговора никакого не могло быть, чтобы каждый мог отношение к нему другого определить, потому, что только силуэт был, мужчина, женщина — это еще разобраться можно было, а вот лицо увидеть, узнать, мол, как ты ко мне, отношение выяснить бессловесным образом, уж это

нет, никакой возможности— такие обширные площади, в улицах же было много пространства и в часы, когда небо от приближения к земле, к земной плоскости, поверхности, на которой дома и люди, небо от этой близости темнело, то в городском всем пространстве, заполненном в дневное время воздухом и энергией солнца, зажигались фонари и в это время городской общей и личной жизни каждого, когда первая уже останавливалась, а вторая вот тут и начинала проявлять себя, тогда-то и встречались они в центральных, особенно освещаемых и богатых количеством людей частях города, где Таня, приехав с окраинного места городской жизни, нелепо счастливая, неосмысленная, не сама по себе, оказавшаяся рядом с Витей, как водится,— кино, но казалось ей иное, новое, невозможное, будто впервые увидела, кинозал, экран, кадр-смена, люди— целуются и стреляют, заново все— сама, самое единственное, ничего раньше— кафе, вино, от которых жажда сладости, зеленые яблоки— под музыку за пятак— забвение вчерашней всей жизни. Не было словно, не было, не было прежде Таньки, никакого рассуждения— впервые, невиданное, не переживала— и вся Таня, вся тут, без разбору.

Витя курил "Беломор", смотрел на посторонних женщин, да время от времени с непосредственностью здорового человека поглаживал Танькино бедро, пил коньяк.

Когда-то Витя учился в Ташкенте в летном училище и предпочитал ночные прыжки, потому что платили чуть ли не вдвое больше, тогда была такая удивительная для него жара, что казалось, будто слово "замерзнуть" или слово "утопиться" определяют эту степень пота, солнца и скрипящего на зубах песка гораздо точнее, чем выражения, к которым обычно прибегают в таких случаях. Палатки плыли от зноя и частенько они занимались тем, что

трое суток ташились по пустыне, каждый сам по себе, с полной выкладкой, такая игра— кто дойдет, кто быстрее, а кого подобрать придется и тому минус— и все это с суточным запасом воды и совсем немного сухого пайка, ибо начальством и вышестоящими людьми, далеко от них отстоявшим, учитывались разные ситуации и возможности, и жизнь их старательно приближалась к обстоятельствам и условиям боя и настоящего военного положения.

Командиром их части был майор Комкин, тот самый майор, который однажды, испугавшись стрелки-змеи сантиметров двенадцать, а может и меньше длиной, которая прежде чем насмерть прокусить человеку кожу, подпрыгивает как велосипед при быстрой езде по неровной дороге, если у тебя слишком сильно накачаны трубки, подпрыгивает на высоту около метра, пролетая в воздухе приблизительно такое же пространство уже по горизонтали, и которую он поймал голыми руками по тогдашнему своему увлечению змеями и разной естественностью и принес в палатку, куда чуть ли не вся часть сбегалась посмотреть и сам майор, тот самый, который первым бежал из Витиной палатки, оставив своего десятилетнего сына; правда, тогда все убежали, толкаясь, пихая друг друга, скорее к выходу— отличные ребята— асы— ничего не боялись— бежали, когда стрелка, рассердившись, выпрыгнула из банки,— и остался мальчишка, да он, около часа потом по всей палатке ловивший эту проклятую тварь. Тогда получил он выговор от Комкина и осталось в нем надолго неуважение к начальству и недоверие к майорам, а вскоре он уехал, все бросил, хотя от него все отошли, отвернулись— честь офицерская— а он на своем настоял и уехал.

Он гладил Танькино бедро, пил коньяк, посторонние женщины занимали его, но он не думал о них, как не думает бегун о том, пусть его жизнь на эти полторы тысячи метров связана

и определена временем, не думает, который теперь час. Впрочем, все было обычное, как бывало раньше, похожее и очень неплохо.

VI.

И не то, чтобы у Таньки уж совсем раньше никогда такого не было— было, было же, многое и даже, наверное, все было, такое. Как существо внесоциальное, и общественным порицаниям и благодарностям, что торжественно выносятся на общих, где все обязаны присутствовать, собраниях, где под аплодисменты на сцену выходишь под бюст Владимира Ильича, красное повсюду и все улыбаются, не то что равнодушное, а скорее боязливое,— пугало ее это и так— главное— неловко было, даже когда в последнем ряду зала с краешку сидела и тогда неловко, не по себе, такое чувство, будто нехорошее что делаешь сама, а еще неловче от того, что взрослые—то, взрослые—то то же самое, будто так и надо, нехорошо ей было, а отчего— сама не знала, может они и правы были, улыбаясь, поощряя, а все—таки было чувство, что допустили они— эти люди— такое, отчего им самим не здорово, допустили, думая "ничего, мы—то сами по себе", а оказалось, что они, допустив, сами такие стали, пообвыкли, а самое верное— просто Таньке в таких, хоть и просторных залах, душно было, веселиться ей хотелось, вот все и придумывалось, само по себе, складываться начинало такое ощущение— неправда и на глаза слезы, а уж точным быть до конца, так чего ее слушать— и училась—то она плохо, от этого все наверно,— а может по другим каким причинам, по отцовским склонностям, да материным привычкам, но не была Танька бумажным человеком, не знала она таблиц умножения, удельного веса тел и разных правил вычитания и сложения.

ния; ей не то что трудно было, скорее надуманным каким-то казалось, таким, что и знать-то это стыдно было, да еще умный вид при этом, серьезность, будто и в самом деле что-то важное и стоит гордиться или хоть мысли одной стоит— вот я, возвышенное что-нибудь такое подумать о себе или еще лучше, если б по поводу других, о всех вместе это могло впечатление создать, так, чтоб сразу все в одном, всем приятно, а не то, что один отличник, другой ленивый, третий еще похуже того— и получалось— будто все вместе, а на деле противное состояние и такая неискренность— не принимала этого Танька, все что в ней было— было раз и навсегда и вся она была целиком сделана, выдуманна заранее и никакой возможности в нее вложить реки и куда впадают и разных писателей, Пушкин там, "Поднятая целина",— все знала Танька и свое собственное было у нее понимание жизни и какая она и как в ней живет.

А по поводу бюста если, то ведь не один— Владимира Ильича— то был, два их было поначалу и долго, а после непонятное началось, второй—то жив был и его бюст так стоял потому, что не могтон сам сразу во всех школах быть, вот его и размножили, ну и уважением этот бюст окружен был, даже последние хулиганы, даже Зяма, которого однажды сам завуч из-под лестницы вытащил, когда он там маленькую распивал вместе с Димкой Фомушкиным — и тот почтение имел, что Таньку очень удивляло, ибо Зяма, например, того же Сашку Беленького бил сильно и не жалел, а Сашка—то в общем, хоть и не нравился ей, тихий он был и некрупный, но все же и кровь у него из носа текла и плакать он мог, ну живой в общем, а тут на каком-то ящике в красном кумаче бюст и вот пожалуйста — даже в директрисе трепет был замечен, а дальше уж совсем непонятное пошло, вдруг стало все можно— этот

человек умер, не стало его, все было вначале как полагается— не учились, плакали, а вот после странное пошло— разрешено все вдруг было, нос у бюста отколотили; Танька думала, что вот теперь Зяму и Шороха точно из школы выгонят, да нет— только через время какое-то и уши бюсту отколотили — тогда директриса приказала убрать бюст тот, что с отбитыми частями, в кладовую школьную, и один только оставить, тот, что Ленин. Противно это было, противнее алгебры и географии, потому что, а если б этот человек живой был, так ему, наверно, и живому такое сделали, та же директриса, то плакали все, а теперь, — ведь из-за него день целый не учились, может он и плохой, так зачем плакали, Танька, например, не плакала. Один день из-за него хороший был, пусть только один, но был же, когда в школу не надо было.

Уж эта школа, когда рано встаешь, чтобы заспанной и плохо умытой, чтобы еще растрепанной слушать страшно важные дельные вещи и очень бояться— вот сейчас тебя к доске и это, наверно, еще хуже, чем когда в большом зале у колонны стоишь и с эстрады объявляет тощий в очках танец: заиграли уже, а тебя— и стоишь и думаешь, неужели нет, а они идут мимо, выбирают— как неловко— может и танцевать сейчас не хочешь и ведь знаешь, не пойдешь, откажешь, мол устала, а все ждешь, неужели нет, не пригласят, и как-то за них странно стыдно, опять не то что-то, совсем не то, опять— такое же чувство, когда за партой, колонка у окна, самая дальняя и сердце обморочно опускается, а потом вверх— не вызвали, не ее— Светку Павлову, а как приятно бывает— ни одного танца не пропускаешь, все тебя и тебя, красивая потому что, нравишься.

УП.

Жила Танька в ожидании, как живет всякий человек, и лишь некоторые исключаются из этого правила, но они, наверно, не относятся к роду земному, а с других нам неизвестных планет, ничего не боялась, но все искала, не хватало чего-то ей— вот и ходила она в цирк, вначале, правда, потому, что мороженое там вкуснее, чем в ТЮЗе на Моховой, когда с классом была, а позднее, сама не зная из-за чего ходила смотреть как на проволоке или под куполом красивые люди делали непонятные ей вещи— как таблица умножения или закон физический,— зачем, для чего— непонятно. Не видела она радости, когда человек гирю поднимал или трех женщин сразу, для нее это было как бюст, когда есть совсем обычные, ничего не поднимающие люди— были они ей интереснее. Над клоунами смеялась, но потом было грустно и себя она после не любила.

Убегала Танька от неприятностей жизни, от матери в ванне запиралась, от дотошных учителей, которые в конце концов были просто недалеки, несчастные люди, и знала Танька, а вернее они знали, наверно, что вот она знает их эту тайну— и от них убегала, чтоб не ставили плохих отметок, чтоб не слушать и потому еще, что скучно и непонятно и куда веселее с Сережкой Ширяковым— школьным футболистом в кино, потом на островах целоваться, а после в большую перемену в школьной уборной девчонкам показывать— Сережка мужчина— у нас любовь.

УШ.

Начало отношений любовных или лишь так названных, отличается от середины, когда они— эти отношения— достигают среднего

зрелого возраста своей жизни, когда происходят распределения обязанностей, более точное, а вернее уже окончательное, не то, что в начале, когда оба пребывают в прекрасном равенстве, не думая о рангах, даже и в голове не держа, что такие могут быть, не определяя, чем каждый должен здесь заниматься, что делать, какую нести ответственность и кому кто обязан и должен подчиняться. Сближение слишком неожиданно и быстро и трудно повнимательнее рассмотреть другого, понимание и оценку произвести, трудно это так, сразу и поэтому приходится заниматься этим потом, примериваться, замурив глаза, вопросами и вопросиками задаваться и на все, что еще вчера было ясным, было достоверным, наводить сомнение и вопросительность. Гадаешь о своем положении, подразумеваешь удачу и себя в этой удаче, но уверенность твоя и внешнее твое победное существование и все проявления, что кажутся соседям и родственникам счастливым знамением или наглой распушенностью, оказываются недоразумением, скорого разъяснения которого боишься, не хочешь и о неотвратном наступлении его— этого разъяснения происшедшей ошибки— носишь в себе догадку и полную уверенность. Когда уже будто вся возможная ясность существует, вот именно тогда и начинаются терзания и душевные хлопоты. Что за позиция такая у тебя, кто ты по отношению к другому, неизвестному тебе лицу, откуда эта безымянность, этот икс, эта неизвестность и она— эта неизвестность, это состояние человека на качелях, когда внутри вверх-вниз, вверх-вниз, как во сне вверх-вниз, как очень пьяный человек под утро прилег и встал бы и понимает, что ошибку совершил, что худо, но нет— падает, падает, летит кувырком. Так вопросительна твоя жизнь с предчувствием беды, когда про себя уже знаешь: не то, что ты сам, сознатель-

но, умом знаешь, хоть и он не в сторонке стоит, а скорее нервами, волокнами, наплывами крови, приливающими к сердцу, может потом, что кажется будто и плащ твой весь взмок и платок на голове, — знаешь, что беда произошла, даже догадываешься, что ничего и не было кроме беды, живешь по инерции, звонишь, плохо выглядишь и не надо бы такой ездить, переждать надо, а там глядишь что-нибудь новое подыщешь, но нет — каждый вечер одно — срываешься и через весь город. Ведешь счет остановкам, окружающих так ненавидишь, что хоть в одежде они, да будь все раздеты, пусть со смехом на лице, пусть в кармане газета, пусть глаза пьяные, пусть заплакался весь человек — все одно — ненавидишь, а вдруг они — то счастливые, да так оно и есть, а как же иначе, — счастливые.

IX.

В третью субботу марта она приехала к Витьке, была какой-то по своему настроению веселой и ласковой, без скованности и напряжения, будто уже заранее знала. Она позвонила три раза, но за дверью так и не возникли знакомые шаги и она не открылась. А всем и каждому и даже любому очень наивному человеку ясно, что если ты в субботний вечер, пусть даже без предварительной договоренности приехал и никого не застал, то это — и здесь неважно, чем он занимается, пьянством или пошел в кино с подругой твоей двоюродной сестры или с ее племянницей, приехавшей из города Нестерова или на танцы одиноким и гордым человеком или даже он в гостях у своего дяди — адмирала флота в отставке, в его восьмидесятиметровой квартире, одну половину которой занимает коллекция гашеных и негашеных

марок, а другую— его жена, у которой он пятый по счету, уже ничто не имеет значения и не служит оправданием, ибо даже последнему простаку и идиоту ясно, что это конец, по той простой причине, что суббота предназначена для любви, чтобы любить друг друга, пребывая вместе до самого ночного начала понедельника и следующей недели.

Спускаясь по лестнице, она слышала как наверху стукнула дверь, неопределенные, но громкие голоса повисли в пролете лестницы, за побеленной стеной включили телевизор, на площадке третьего этажа, прислоненные к стене, стояли лыжи и санки, отчетливые через окна на лестницу пробирались наружные уличные звуки. Она прошла все пять положенных этажей. Никакой не было в ней внутренней жизни и теперь получалось неестественное, неправильное дело, что не она из себя, из внутри спрятанной радости всему внешнему жизнь давала, а наружное, шум всякий и что зрением ухватывалось,— это вдруг главным стало, и все эти органы осязания и обаяния так обострились, что и перил шероховатая поверхность заметна была ей, руке ее правой, точнее ладони и особенно большому пальцу на сгибе, и дым от сжигаемых листьев, что с прошлого года, и все это весеннее, что в воздухе билось и не имело названия, а сюда ехала— вся внутри, и не заметила, что апрель, может декабрь,— своя жизнь была.

Медленно двигалась она по улице, неровно, словно мозжечка лишилась, не шла будто, кувыркалась, перекачивалась, ни рук, ни ног казалось. Было одно переживание, скорее ощущение даже, тоже не очень точно, чувство огромное по размерам своим, но расколотое, на мелкие кусочки, маленькие— и они-то в тело впились изнутри и боль причиняли; разумно Таня объяснить все пыталась, привязанность свою, невероятную для нее, растолковать, а осколки совсем в тело вросли, кровь их залила, затянуло

их живой тканью, и боль как бы по всему телу распространилась, до самой периферии добралась, а внутри у нее, — словно пустая, полая она стала, неизвестной физической природы тело возникло и заполнило все пространство ее жизни, все до последней видимой точки, плотное, тяжелое, страшное, вытеснило Таньку саму оно, чувства ее разные, незначительные, но ее ведь мысли. Такое это было жуткое дело и так тяжело и больно было, что не мог долго ни один живой человек такое выдержать.

Внешне она сохраняла сходство с Танькой вчерашней, той Танькой, которая с Витькой, которая не знает приличий, о которой разное говорят, но уже наступало новое, приходило из неизвестности и была другая девочка, сломанная, на кусочки вся разбитая, но шла еще и брезжило что-то, казалось ей, издали, невнятное такое, насчет себя, и выражалось это приблизительно в таких словах, складывалось от боли, наверно, в некую мысль, прозрение, что вот все искала она, а то, что искала, есть у нее, ее от рождения, ей принадлежит и это не то, чтобы она сама, ее плоть там, как себя проявляет, хотя и это тоже, то есть и она сама — это важно очень и себя она искала, когда она издавна, испокон, из века есть, но главное, — и поняла она вдруг, — что окружало ее, близкое, что отринуть стремилась, мол, ошибка, себя для лучшего приберегала, последнего, для чего по ее мнению предназначена была.

Потянуло Таньку в прошлое и как она с отцом ходила и какой он был и поняла главное вдруг она. Может отца она любила, — а ей казалось, жалеет лишь, — с которым в "Зоосад", где-нибудь в марте, когда и мороженое-то еще не продают, да и звери все попрятались, пошлепают они вдвоем вот так по лужам, замерзнут, а после в закуской напротив горячие сосиски с кофе,

еще маленькой, а она вдруг чужого человека к себе допустила, в самое нутро забраться дозволила, чтоб там поселился.

Она помнит— это было еще в то время, когда они жили на Васильевском острове, и Марья часто уезжала, оставляя их на попечение друг друга, это было задолго до того, как Феодосий Артамонович стал портным, до того несчастного случая, после которого он уже не мог работать стрелочником на железной дороге, в то время, когда у них в буфете еще лежали три серебряных ложки и стояло семь рюмок из розового стекла на тоненьких ножках, давнее то время, еще до Сашки и Кольки, еще до Сережки Ширякова и уроков алгебры и географии, еще до утренних вставаний в школу, до разных пришедших позднее жизненных неурядиц и недоумений, в то давнее, давнишнее время, отошедшее, прожитое, когда вместе с отцом смотреть баскетбол ходила в спортивный зал Академии Можайского, где от дыхания висит над головами и мечущимся по площадке мячом, над аккуратными военно-воздушными полковниками туманное сырое облако и сквозь него нечетко-подрагивающие огни люминесцентных ламп. Приходили за два часа до начала, занимали места у сачка в глубине зала у самой кромки площадки, чтобы еще до свистка судьи из Поти Аристо Шонии потеть — от духоты и набирающего силу азарта— животом, а потом во всю первую половину игры, испуганно поглядывая на табло, где указаны набранные каждой командой очки, глотать слюни и кричать: "Партизан, работаешь втихую" и сразу "Сзади, смотри сзади, дурак".

Простояв на остановке положенное количество времени, Танька дождалась трамвая, и на задней площадке второго вагона, приткнувшись лицом к стеклу двадцать третьего номера привычного городского маршрута, думала, припоминая, как отец вечно

ее— даже маленькой— стеснялся и недоумевая перед ней, взрослеющей,— будто думал, вот умница, откуда такая девочка, он сам при чем тут; такой когда-то пивший веселый человек чувствовал виноватым себя, давал трешки, будто брал их, будто зависел, провинился в чем, а она— и любила, да внутри все, про себя, близко не подпускала, а теперь так далеко от него ушла, что и не вернуться, поздно.

Стало, действительно поздно, ибо стемнело, часов восемь, и зажглись над улицей плоские фонарные, чтоб мартовскую захудалую темноту просветляли. Внутри неизвестной физической природы тело заняло все пространство, не оставив для жизни никаких просветов, и совсем вдавливаясь в стекло, боясь взглянуть на людей ее окружавших, будто украла, провинилась в чем низком и самой стыдно, и если узнают, то плевать начнут или того хуже, вдруг выйдут все из вагона, все выйдут, узнав, и одна тогда с этим внутри, которое просто мысль, чувство— унизилась, себя сама всю выставила, как на сцене или во сне.

Дома спряталась Танька от всех домашних, заперлась в на краешек ванны присев, маленькую из горлышка— она ведь Марьяна была дочка— стала пить, начала, хлебнула разок и вылила в раковину,— Марьяна, да еще сама по себе тоже— и плакать, о зеркале забыв, о красоте думать— плакать. Может и вправду дурная она, может и вправду все верно говорили, она во всем неправая, может и непорядочная, может она такая и так ей и надо. Так точно или примерно думалось Таньке, но долго не могла она быть ими, под их властью и мнением ходить, просто слабость на недолгое время, что быстро проходит. Знала Танька, порядочная только потому, что в двадцать замуж и по случайности какой может даже девушкой, а после, в тридцать пять, ко-

гда сыну одиннадцать, разгуляется, ~~всё~~ все понесет, ничего не жалко— и хороший муж, да что в нем— одно уважение и чувствуешь— прошло, упустила— или сама не знаешь почему— начинается тогда и не остановиться, а раньше, что прежде только потому, что дура, самой теперь смешно, все позволяла, через два года после замужества, только не это— порядочность—то вся от дурасти— заразиться боялась, а теперь, когда то ли под тридцать, а скорее, под сорок и понесло, понесло— никакого удержу— знала Танька и хоть не искала себе оправдания и догадывалась, что и легче от этого не станет, а все ж, наверно, без преднамеренности какой, но в утешение себе думала это под слезы и всхлипывания.

XI.

А уж последние часы вечера окончились у Таньки, как и полагалось им. Приведа она себя наскоро в порядок и от какой-то злости или с отчаяния или с последней какой радости отправилась в Ленсовета на Кировском Петроградской стороны, чтоб там, между белых алебастровых колонн в руках танцора с прозрачным плоским лицом и легким телом по всему огромному светлomu пространству, среди таких же несущественных ликующих пар.

И идешь под музыку, под гитарный звон, саксофонист будто птичью стаю из своего инструмента выпускает, выпустит, подождет— и вносъ, как воробьи, спугнутые доберман-пинчером, звуки. Изгибаясь, на полусогнутых, затылком к затылку, какая к черту прическа, идти так, что уже и не идешь, а летишь, совсем изогнувшись и как бы навыворот, что и не ты это уже, а другое, что и представить сама не можешь, чтобы ты, да такое,

да так вот, забывшись, в запахах духов, для волос лака, надопитой водки, только что у зеркала в уборной красоту наводила, а теперь в самозабвении— и какая разница— Витька, Колька, Саша— все одно— собачья радость и начисто, что недавно только вся другому, несуществующая, через весь город, чтоб взглянуть, ничего не надо, дура, дура— сколько гривенников потратила— забыла.

Х П.

В утро следующего дня солнце у Калинкина моста взошло, как ему и полагалось, около семи, это был обычный шар цвета неспелой дыни. Он немного побыл в неподвижности, довольно высоко над домом, где жила Танька, а потом скатился в улицу Дровяную, распространил по всей улице светлую раннюю прохладу, на тоненьких ножках через окно вошел в Танькину комнату и прогнал темноту последнего ночного часа. Марья, встав, как обычно, хоть и было воскресенье, выпила холодный кофе, выкурила папиросу и как-то очень непохоже и тихо, ушла, не закрыв за собой дверь. Феоdosий Артамонович так и не проснулся, что случилось с ним впервые за все годы супружеской жизни. А у Таньки школа закрылась, как и полагалось ей закрываться на воскресенье и на весенние недолгие каникулы, что ведут свой счет от зоологического пионерского "Дня птиц" и длятся до следующего календарного месяца апреля, когда точно уже знаешь, что санки и лыжи надо прятать в укромные темное место и вытаскивать велосипед, а если ты уж очень торопишься, то и сачок для бабочек. Феоdosий Артамонович спал, подложив ладонку правой руки под щеку, а левую,— вытянув, забросил за лысую свою голову, он похрапывал.

вал, прикусив белыми мелкими зубами краешек простыни.

В углу у двери спала Танька, забывшая распустить волосы, с тяжелым узлом на затылке, уткнув свое распухшее от пролитых во сне слез в наманикюренный кулачок. Ей снилось, что она идет по пояс в холодной быстрой воде, — намокшее платье прилипло к телу, — вдоль крутого, поросшего кустарником берега, потом на тропинке через лес к дальнему просвету, за которым начинались Змеиные горы.

Что в этом сне крылось, мы не знаем, может мудрость какая, может так, без умысла приснился, был ли это тот, нужный сон, или случайный — Таньке виднее.

Март 1968 г.